

ВЕЧНАЯ ПОЭЗИЯ

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Раненая песня



Павел Николаевич Васильев
Раненая песня
Серия «Вечная поэзия»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43711959
Павел Васильев. Раненая песня: АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-111490-9

Аннотация

Поэзия Павла Васильева полна контрастов. В ней удивительным образом сочетается царская Россия со свободным и молодым языком Революции. Павел Васильев вырос в Казахстане, среди прииртышских казачьих станиц: поэтому коллеги называли русским азиатом. Восток и Запад, старое и новое, традиции старины и новая советская культура – в его творчестве они причудливо переплелись. Васильев жил смело, самоотверженно и честно. Его стремительная жизнь и трагическая судьба оставили неизгладимый след в русской советской литературе. В сборник вошли избранные стихотворения и поэмы, в частности «Песнь о гибели казачьего войска».

Содержание

Ему дано восстать и победить	5
СТИХИ	35
Письмо	35
Азиат	39
Пушкин	41
Мясники	44
Бахча под Семипалатинском	46
Рассказ о деде	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Павел Васильев

Раненая песня

© Васильев П. Н., наследники, 2019

© Куняев С. С., предисловие, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Ему дано восстать и победить



Появление в московских литературных кругах Павла Васильева в начале 1930-х годов прошлого века было подобно вулканическому извержению. Он входил в писательское сообщество уверенным шагом, с полным осознанием своих сил, готовый на все, чтобы покорять одну вершину за другой, и в то же время готовый каждую секунду огрызнуться, дать отпор, показать, что он значит со своим природным даром и недюжинной внутренней силой в прожженной, циничной атмосфере литераторского угара.

Он притащил с собой в писательский клуб, в салоны и салончики солидный шлейф из сплетен, слухов, намеков, из которых ниточка к ниточке плелась его литературная репутация. В «светском обществе» его встретили настороженно, с чувством, в котором любопытство органически сочеталось с неприятием. Никто не знал, чего можно ожидать от этого буйного, неуправляемого провинциала, поражавшего силой и красотой своих творений.

«Как только ни называли поэта, – писал уже в 1980-е годы Сергей Поделков, – и „сыном кулака“, и „сыном есаула“, и „певцом кондового казачества“, и все, что он создавал, объявлялось идейно порочным, враждебным, „проникнутым реакционным, иногда прямо контрреволюционным смыслом“. А он был на самом деле сыном учителя математики, внуком пильщика и прачки, служивших у павлодарского купца Дерова, и с любовью рисовал мощным поэтическим словом жизнь родного народа, советскую действительность.

Выбросил с балкона С. Алымов пуделя Фельку – собаку артиста Дикого, – приписали П. Васильеву. Написал Е. Забелин пессимистические стихи „Тюрьма, тюрьма, о камень камнем бей...“ – автором объявили П. Васильева. Он любил до самозабвения С. Есенина, называл его „князем песни русския“, знал почти наизусть четырехтомник знаменитого рязанца, боготворил его как учителя, и все равно А. Коваленков измыслил отрицательное отношение П. Васильева к творчеству Есенина и бесстыдно опубликовал клевету.

Правда, он не был ангелом; но если клеветают и травят, разве можно быть им?»

Продолжалась хула не только при жизни поэта, но и после его трагической безвременной гибели. И когда в конце 1980-х годов стали публиковаться сериями неизвестные его стихотворения и воспоминания о нем, эти публикации нередко сопровождались двусмысленными комментариями. В них преимущественно делался акцент на «звериный», «природный», «нутряной», не обогащенный культурой дар и неуправляемый характер Павла Васильева. С точки зрения идеологической тоже все было не так просто. С одной стороны – устойчивое клише: «выдающийся советский поэт». С другой стороны – такой ли уж советский? Кроме того, личность весьма подозрительная на взгляд нынешних «демократов». Да, репрессирован, да, расстрелян. Да, «жертва сталинизма»... Но прославлял индустриализацию? Прославлял. Писал антикулацкие поэмы? Писал. Репутацию «антисеми-

та» имел? Имел.

Впрочем, стихи – это одно. Человеческая судьба – другое. Репутация – третье. Но существует уникальный мир, сотворенный в душе и выраженный в поэтических строках. Уникальный мир, оставшийся непонятым современниками, оказавшийся неведомым потомкам, он только-только приоткрывается нам. И потому поэзия Павла Васильева становится все ближе, яснее и, говоря по-казенному, актуальнее для нас, переживающих на рубеже тысячелетий, наверное, самые тяжелые в их изощренности испытания, выпавшие России на протяжении ее истории. Поистине, «большое видится на расстоянии», если вспомнить слова васильевского кумира.

* * *

Павел Васильев родился 23 декабря 1909 года (5 января 1910 года по новому стилю) в городе Зайсане, в семье выходца из казачьей среды и дочери павлодарского купца из крестьян. Это скрещивание казачьего и купеческого сословий многое определило в его дальнейшей судьбе.

Уже под конец своей короткой жизни Васильев встретился в столице со старым знакомым – поэтом Андреем Алдан-Семеновым. Во время скороспелой выпивки, перелистав газетные страницы, где красовались извещения об отказе детей от своих отцов, объявленных врагами народа, сказал своему собеседнику:

– Ну и детки от первой пятилетки! Только и слышишь: каюсь да отрекаюсь. А я вот нарочно распустил слух про себя, что, дескать, сын степного прасола-миллионщика, а не учителя из Павлодара.

– Зачем выдумывать басни во вред себе?

– В пику продажным душам! Когда предательство родного отца объявляют героизмом – это уже растление душ. Противно.

«Сын степного прасола-миллионщика» тут же превращался в «сына казачьего есаула», хотя ни то ни другое не имело никакого отношения к действительности. Более того, сплошь и рядом он сопротивлялся своей собственной памяти, увлекавшей его в материнский дом, в мир буйно цветущего, многокрасочного детства. Старое и новое, прежнее и нынешнее требовали своей дани одновременно. И с этим разладом в душе, при всем своем жгучем желании обрубить концы, связывающие его со старым миром, миром казачьих станиц и казахских аулов, мира деда Корнилы Ильича и матери Глафиры Матвеевны, миром притихшего Зайсана и наполненного покоем Павлодара, Васильев, весь принадлежа переломной эпохе 1930-х годов, ничего не мог поделать:

Я знаю, молодость нам дорога
Воспоминаньем терпким и тяжелым,
Я сам сейчас почувствовал ее
Звериное дыханье за собою.

.....
Но в тесных ульях зреет новый мед,
И такова извечная жестокость —
Всё то, что было дорого тебе,
Я на пути своем уничтожаю.

.....
Как ветер, прям наш непокорный путь.
Узнай же, мать, поднявшегося сына, —
Ему дано восстать и победить.

В те годы, исполненные пафоса разрушения семейного очага, обрубания родственных корней, отречения от прошлого, «терпкое и тяжелое воспоминанье» о нем не было характерно ни для кого из поэтов-ровесников Васильева. Да и сам он, все сильнее ощущая за плечами «звериное дыхание» живой, только что покинутой жизни, стремится уйти от нее, забыть ее, думая, что полностью принадлежит новому времени, что старый мир, тот мир, для которого еще найдутся слова нежности и любви, обречен на уничтожение... Но не пройдет и года, как прозвучит его «Раненая песня» — остервенелый вопль затравленного зверя, стихи, поразительно близкие есенинской «Волчьей гибели».

Али вы зачинщики, —
Дядья-конокрады,

Деды-лампасники,
Гулеваны-отцы?
Я не отрекаюсь – мне и не надо
В иртышскую воду прятать концы.
Мы не отречемся от своих матерей,
Хотя бы нас задницей
Садили на колья —
Я бы все пальцы выцеловал ей,
Спрятал свои слёзы
В ее подоле.
Нечего отметину искать на мне,
Больно вы гадаете чисто да ровно —
Может быть, лучшего ребенка в стране
Носит в своем животе поповна?

В 30-е годы Васильев остается чуть ли не единственным поэтом, для кого нерасторжимая связь разных эпох, обусловленная кровным родством, стала содержанием поэзии. Если Николай Клюев, со своей стороны, проводит непреходимую черту между временами в «Погорельщине», «Каине» и «Песни о Великой Матери», а молодая плеяда советских поэтов начинает свой отсчет времени с 1917 года (и уж, по крайней мере, отречение от жизненных устоев и смысла бытия старшего поколения становится обязательным условием их вхождения в современную систему ценностей), то для Васильева эта система немыслима без кровного и духовного содержания, полученного по наследству.



...«Русский азиат» – так называли Васильева при жизни, даром, что не был он первооткрывателем азиатской темы в рус-

ской поэзии. Но он был одной из ярчайших звезд в литературном содружестве, рожденном и вскормленном на сибирско-азиатских просторах, преобразавшихся на его глазах в соответствии с ритмами нового времени.

В казахстанскую степь с севера, вслед за казаками, купцами, солдатами и офицерами, ехали учителя, инженеры, землестроители. Они овладевали казахским языком, жили одной жизнью с коренным народом... Дети же степняков, обучившись в Омске, Петербурге, Москве, возвращались в родные пенаты и несли в степь русскую и европейскую культуру, создавали школы и семинарии, национальную письменность. Так было на протяжении долгого времени.

Леонид Мартынов – «футурист» и почитатель Маяковского, одержимый родными пейзажами Евгений Забелин, есенинец Павел Васильев, влюбленный в Гумилева и Грина Сергей Марков – все они искали и писали героя настоящей революции, совершающейся на их глазах, героя Великого Перелома времени и пространства. Пробуждение и преобразование Сибири и Азии требовало людей бесстрашных и упругих, бескомпромиссных в достижении цели – новых конккви-

стадоров, воспеваемых молодыми поэтами. Современность перетекала в далекое прошлое, кровавые токи вековых ристалищ питали вдохновение, когда к описанию сущего приступали Иван Шухов, Юрий Бессонов, Николай Титов, а через десятилетия – Юрий Домбровский.

«Проходит всё, но жизнь в веках мудра, поджогами языческих закатов такие же горели вечера над предками раскопых азиатов. Перегнивает ржавчина монет, и череп, как зубренный осколок... Что из того! Солончаковый след отыскивай, поэт и археолог...» (Евгений Забелин).

...На рубеже 20-30-х годов прошлого века в русской поэзии господствовали преимущественно две тенденции. В напряженных попытках отразить перемены жизни, происходящие каждый Божий день, поэты искали форму, которая могла бы вобрать переполнявшие их, но все еще не устоявшиеся впечатления. Конструктивисты, обэриуты и лефовцы калечили гармоничную форму стиха, усложняли зрительный ряд, бросались в звуковые и языковые крайности... Но набирала силу и другая тенденция, разрушающая традиционный стих, предельно прозаизирующая его, низводящая к фотографическому изображению реальности. С одной стороны, «на враждебный Запад рвутся по стерням Тихонов, Сельвинский, Пастернак» (Э. Багрицкий), и Заболоцкий сочиняет свои причудливые «Столбцы». С другой – со своими первыми книгами выступает ровесник Васильева молодой Александр Твардовский, и в них господствует прозаическая, едва

зарифованная речь, а собственно о поэзии говорить просто не приходится.

Васильев не пошел ни по пути разрушительного экспериментаторства, ни по пути натуралистического отражения происходящего. Казахский фольклор, который он впитывал с молодых ногтей, «отращивание глаза» на уроках живописи в школе – вот что помогло ему создать своеобразный эпос пробуждения и преобразования Азии. Он ощущал эти процессы не как бесстрастный сторонний наблюдатель, а как герой совершающихся событий, для которого и ветка хлопка, и железнодорожная ветка на одном из участков Турксиба имеют одинаково неповторимую ценность. Пожалуй, лишь в прозе Андрея Платонова тех лет мы найдем единственную аналогию такому взгляду.

Пародийное восприятие творчества акынов – «что вижу – о том пою» – на самом деле далеко не так бессмысленно, как может показаться: ведь внешние перемены фиксировались глазами людей, привыкших к неподвижности окружающей жизни, к одним и тем же краскам сызмальства знакомого пейзажа. В васильевских же «Песнях киргиз-казаков» в первую очередь обращают на себя внимание предметная выпуклость, рельефность изображаемого, выделение незнакомого предмета на общем фоне. Эта рельефность и стала определяющей чертой поэзии Васильева. Густая живописная образность органически сочетается в его стихах с ощущением стремительного порыва, сметающего традиционный

уклад... Васильев первым из поэтов показал преобразование всей жизни на фоне дотопе неподвижной казахской степи.

Мгла пустынна, и звездная наледь остра
(Здесь подняться до звезд, в поднебесье кружа бы...)
Обжигаясь о шумное пламя костра,
Камни прыгают грузно, как пестрые жабы...
.....
Скучно слушать и впитывать их тишину.
По примятой траве, по курганным закатам,
Незнакомым огнем обжигая страну,
Загудевшие рельсы летят в Алма-Ата!
Разостлав по откосам подкошенный дым,
Паровозы идут по путям человеческим —
И, безродные камни, вы броситесь к ним,
Чтоб подставить свои напряженные плечи!

Наконец найдена неповторимая мелодия, нащупана индидуальная образная система – теперь уже можно свысока посмотреть и на любимого учителя: «Я хочу, чтобы слова роскошествовали. Есенин образы по ягодке собирал, а для меня важен не только вкус, но и сытость»... Васильев все больше ощущает тягу к большому стихотворному пространству, к сюжетной драматической поэме, да и сами его стихотворения больше похожи на маленькие поэмы, в которых грандиозная картина социальных перемен сопровождается

изменением самого природного фона... Природа либо сопротивляется надвигающейся новой жизни, либо преобразуется в унисон с ритмом наступления цивилизации. Вот и старый, с детства знакомый город срывается с места, подхваченный революционным вихрем, и полностью меняет свою стать, обретая невиданные доселе черты.

В каждом окне соседском тусклый зрачок огня.
Что ж, Серафим Дагаев, слышишь ли ты меня?
Что ж, Серафим Дагаев, слушай теперь меня:
Остановились руки ярмарочных менял.
И, засияв крестами в синей, как ночь, пыли,
Восемь церквей купеческих сдвинулись и пошли,
Восемь церквей, шатаясь, сдвинулись и пошли —
В бурю, в грозу, в распутицу, в золото, в ковыли.

Но проходит совсем немного времени, и ликующая интонация начинает сменяться совсем другой – становление новой жизни уже не кажется таким сказочным и безоговорочным. Да и сами ее строители напоминают уже не «летучих голландцев», лихо рушащих старый мир и стремительно возводящих иную цивилизацию, а переселенцев, пилигримов, тяжело и мучительно протаптывающих новые тропы, изнемогающих под непосильной ношей, измученных жарой, холодом и голодом, устилающих своими костями те простран-

ства, на которых встанут будущие города, добровольно приносящих свои жизни в жертву тому грядущему, которое им не суждено увидеть.

Руками хватая заступ, хватая без лишних слов,
Мы приходим на смену строителям броневиков,
И переходники видят, что мы одни сохраним
Железо, и электричество, и трав полуденный дым,

И золотое тело, стремящееся к воде,
И древнюю человечью любовь к соседней звезде...
Да, мы до нее достигнем, мы крепче вас и сильней,
И пусть нам старый Бетховен сыграет бурю на ней!

Сознание своей обреченности, восприятие происходящего как трагедии (в древнем понимании этого слова), сопровождаемой катарсисом, – вот чем насыщена каждая строка стихотворений и поэм Васильева, созданных уже в 1930-е годы. Роковое трагическое рубежье десятилетий он воспринимал как смену эпох, как цивилизационный слом, как новую эру великого переселения народов. В той или иной степени это было свойственно и его сотоварищам, побродившим, как и он, по азиатским просторам. Отношение к человеческой жизни у степняков иное, чем у европейцев, – и свойственным азиатам спокойствием перед возможностью близ-

кого конца проникнуты многие стихи Васильева, Забелина, Маркова.

Ведь достаточно только представить себе «большие ладони светлого озноба» в «Пути на Семиге», и уже не составит труда понять состояние этих людей, которые не чувствуют тяжести совершаемого и не думают о близкой и неизбежной гибели. Плоть теряет здесь всякое свое значение, и кажется, что уже не люди, а посланцы из каких-то иных миров возводят нечто невиданное на пустынной земле. Кстати, наименования «Семиге» не существует как такового. Васильев и не собирался привязывать описываемые события к конкретному географическому пункту. Другое дело, что в названии заложено сакральное число «семь» – и это также указывает на грандиозность сотворяемого замысла, где бы он ни воплощался – на Беломорканале, на Волховстрое, на Магнитке, на Сталинградском тракторном или вовсе в каком-нибудь забытом Богом и людьми углу... Если внимательно прочесть стихотворение «Евгения Стэнман» – останется лишь удивиться сочетаемости несочетаемого: тончайшей лирической ноты и стремительного ритма перелома всего прежнего мира, который пронизан этой нотой в каждом своем движении. Мир захолустного городка сохранился лишь слабым, туманным и оттого еще более притягательным воспоминанием, где фитили ламп, распахнутые калитки, да и сама пыльная зелень кажутся картинками из старых книг, приметамы того прошлого, к которому вроде бы уже не вернуться герою

Гражданской войны, «прорубавшемся» к «старым вишням, к окну и к ладоням горячим твоим». Само воспоминание о любимой осталось лишь «нераскрытыми глазами», «неразоткрытыми руками», виденными точно во сне, и стуком каблучков, доносящимся откуда-то из ушедшего навсегда, проникнутого острейшей тоской о невозможности вернуть его после всех пережитых испытаний «среди тифозной весны у обросших снегами привалов, под расстрелянным знаменем, под перекрестным огнем»... Шум братоубийственной бойни сменяется грохотом новостроек, но пыль от копыт коней красной конницы та же, что поднята паровозами, идущими по Турксибу, – тот же исторический вихрь перемен – и та же горькая услада воспоминаний, тот же образ любимой, рвущейся навстречу судьбе, навстречу сильным заботливым рукам, но остающейся лишь видением, напоминающим о себе и о прошлой жизни в подтверждение неразрывности связи времен – вопреки всему.

Неутомимый путешественник, избородивший всю страну от Москвы до Дальнего Востока, Васильев жадно впитывал все новые и новые жизненные впечатления и все пускал в поэтическую работу. Казахстан, Западная и Восточная Сибирь, Селемджинские золотые прииски, бухта Золотой Рог и японский порт Хакодате, Каспий и Арал – а позже Средняя Азия... Он не просто путешествовал и не просто вбирал в себя увиденное. Создается впечатление, что он, в отличие от многих писателей-туристов, своим образом жизни и своей

поэзией соединял звенья разных миров, был подлинным воплощением русского евразийства в 1930-е годы, когда само это слово никто не рисковал произносить вслух. Мир поэта вместил в себя как историю прииртышского казачества (увиденную, что характерно, глазами самих казаков, которые то уходили в Китай, то возвращались в прииртышские степи, а в годы Гражданской войны воевали как за красных, так и за белых), так и эпоху 30-х годов – современную ему эпоху, о которой Васильев великолепно сказал одной строкой: «Мы еще не начинали жить». К сожалению, судьба распорядилась так, что эти слова оказались приложимы к их автору в самом прямом смысле.

* * *

«Песня о гибели казачьего войска», которую даже спустя десятилетия называли «вещью, пронизанной сочувствием к белогвардейщине», – единственная поэма в творческом наследии Павла Васильева, почти полностью лишенная изобразительного ряда. Она построена на перекличке голосов, благо что перед глазами поэта уже были такие внушительные примеры подобного построения, как «Двенадцать» Александра Блока, «Ночной обыск» Велимира Хлебникова, «Песнь о великом походе» Сергея Есенина. Более того, это единственная вещь, в основу которой Васильев положил, практически без переработки, старые казачьи песни и ча-

стушки, слышанные и собранные в Прииртышье («Без уздечки, без седла на месяце востром сидит баба-яга в сарафане пестром. Под твоим резным окном крутят метели, на купецкой площади – голуби сели...»). Богатейшая инструментовка поэмы, основанная на казачьем фольклоре, органически сочетается с голосовой разработкой сюжета, когда весь событийный ряд представлен через звуковую симфонию. Первая встреча влюбленных, открывающая поэму любовным шепотом («С милой рука в руку смеюсь-бегу. Перстнем обручальным огонь в снегу. Теплый шепот слышит, дрожь затая, холодная-льдистая рука твоя...»), сменяется древним казачьим заклатьем жениной любви («Кони без уздечек, пейте зарю, я тебя, касатка, заговорю... Засвечу те очи ранней звездой, затаю те губы жесткой уздой. Закреплю заклатье: Мыр и Шур, Нашарбавар, Вашарбавар, Братынгур!»), которое органично переходит в диалог сестры и брата, обнаружившего в доме свидетельства посещения сестренки любимым («— Ты скажи-ка мне, сестра, не настала ли пора, не пора ли замуж отправляться? – Ты послушай, родной брат, дай пожить мне, поиграть, дай пожить мне, дай покрасоваться...»).

Эта мирная, устоявшаяся жизнь приходит к концу с началом похода казачьей вольницы во имя отстаивания своих вековых прав, традиционного уклада, разрушаемого революционным вихрем. Похода, из которого никому не суждено вернуться.

Войско казачье – в сотни да вскачь.
С ветром полынным вровень – лети,
Черное дерево – карагач,
Камень да пыль на твоём пути!

Печальная колыбельная казачьей матери сменяется перебросом реплик красноармейцев в теплушке захваченного поезда. И, наконец, вторгается смертоубийственный мотив последней песни красных частей перед решающей схваткой с казачьими сотнями, когда каждая голова стоит на кону.

Зла, весела и игрива
Смерть на ветру. Туман.
Морда коня и грива,
И над ней барабан.
Что ты задумал, ротный,
Что ты к земле прирос?
Лентою пулеметной
Перекрестись, матрос.

Видишь, в походной кружке
Брага темным-темна.
Будут еще подружки,
«Яблочко» и веснушки,

Яблони и весна!

Полный текст поэмы был изъят почти из всего тиража «Нового мира». Реакция литературной общественности на «Песню о гибели казачьего войска» была предопределена, и ее вполне можно сопоставить с реакцией современников Александра Блока на поэму «Двенадцать», когда многие ближайшие друзья проклинали поэта, обвинив его в «большевизме». С Васильевым дело обстояло еще хуже. В период слома всех оставшихся жизненных основ старой России любое изображение казака, вызывающее сочувствие, вопреки всем проникнутым классовой ненавистью декларациям, влекло за собой неизбежный набор политических обвинений, которые рано или поздно должны были достигнуть своей цели.

* * *

4 марта 1932 года Павел Васильев был арестован по так называемому «делу „Сибирской бригады“». По этому же «делу» проходили Леонид Мартынов, Сергей Марков, Евгений Забелин, Николай Анов и Лев Черноморцев. Писатели обвинялись в создании «нелегальной контрреволюционной группы, ставящей своей задачей широкую антисоветскую агитацию... через литературно-художественные произ-

ведения, обработку и антисоветское воспитание молодежи и враждебных к соввласти слоев... В качестве конечной политической цели выдвигался фашизм, в котором увязывался национализм и антисемитизм, культивировавшийся в группе... Группа выдвигала создание независимой белой Сибири...» Кроме того, было предъявлено обвинение в культе колчаковщины и Колчака, а также в «сепаратистских белогвардейских установках».

Анов, Мартынов, Марков и Забелин были приговорены к трехлетней ссылке. Приговор раскаявшимся Васильеву и Черноморцеву постановлено было «считать условным, из-под стражи освободить».

В конце июня 1932 года Васильев вышел на волю и тут же попал под опеку главного редактора «Известий» и «Нового мира» И. М. Гронского. Поэт расстался с первой семьей, женился на Елене Вяловой – родной сестре жены нового покровителя, тут же оказался в центре внимания литературных и политических «бонз» и стал своего рода объектом «перестройки», объявленной на литературном фронте.

В это же время он близко сошелся с Николаем Клюевым и Сергеем Клычковым, для которых стал первой после Сергея Есенина «нечаянной радостью» русской поэзии. А Гронский, со своей стороны, делал все, чтобы обтесать в новоявленном «воспитаннике» все острые углы и приспособить его к «социалистическому строительству» на литературной ниве. Но, как известно, ученого учить – только портить. А

«портиться» Павел Васильев не желал. И ни на йоту не изменил своего яркого, размашистого, своевольного поведения.

«В Васильеве, – вспоминал Варлам Шаламов, – поражало одно обстоятельство. Это был высокий, хрупкий человек с матово-желтой кожей, с тонкими длинными музыкальными пальцами, ясными голубыми глазами.

Во внешнем облике не было ничего от сибирского хлебороба, от потомственного плугаря. Гибкая фигура очень хорошо одетого человека, радующегося своей новой одежде, своему новому имени, – Гронский уже начал печатать Васильева везде, и любая слава казалась доступной Павлу Васильеву. Слава Есенина. Слава Клюева. Скандалист или апостол – род славы еще не был определен. Синие глаза Васильева, тонкие ресницы были неправдоподобно красивы, цепкие пальцы неправдоподобно длинны».

Он работал как вол, создавая в кратчайшие сроки монументальные поэмы, каждая из которых вызывала бурю в читательской и литературной среде. Десять за неполные шесть лет – и каких! «Соляной бунт», «Лето», «Август», «Одна ночь», «Синицын и Ко», «Дорога», «Кулаки», «Автобиографические главы», «Принц Фома», «Христоробовские ситцы». Фантастическое разнообразие жанров – эпос, лиро-эпическое полотно, эпико-драматическое сочинение... И десятки лирических стихотворений, дошедших до нас. А сколько еще не дошло! Вообще поражает его отношение к своему творчеству. Он потерял, раздарил, уничтожил огромное ко-

личество стихов – никто даже не знает сколько. К примеру, оставлял на вокзале чемодан с рукописями, и, когда ему говорили: вернись, заberi, – он отвечал: «Ничего, новые напишу». Вообразить трудно, сколько осталось не опубликованных им при жизни произведений: потрясающих стихотворений, за которые, как говорится, другой поэт ухватился бы обеими руками.

Создавалось впечатление, что каждую минуту своего бытия Васильев проживал как последнюю. Жизнелюб неизбывной силы, перехлестывающей все мыслимые пределы, он шел к своей гибели семимильными шагами – и здесь нет никакого противоречия.

Бог весть какое умение скользить по паркетным половицам требовалось в литературном мире того времени. Васильев же виделся окружающим подлинным слоном в посудной лавке, которого необходимо приручить, обтесать, обкрутить и, естественно, окрутить. Когда же стало ясно, что он не «обтесывается» и не «обкручивается» – в качестве «воспитательного средства» стала использоваться увесистая дубина.

«Три мальчика, три козыря бубновых» – неразлучные друзья в жизни и в поэзии: Павел Васильев, Борис Корнилов и Ярослав Смеляков – как будто не чувствовали всей опасности происходящего. Вернее сказать, не желали ни выказывать страха, ни менять манеру своего поведения.

Чем больше нагнетались трагические ноты в середине

тридцатых годов, тем больше хотелось людям непринужденного веселья, милых и сентиментальных песен и кинофильмов, *радости* жизни, словно знали они, что надолго ее не хватит. И пресловутые «богемные нравы» в среде молодых поэтов, по которым был открыт шквальный огонь критики, – тоже примета времени. То было вовсе не желание забыться в пьяном угаре, а естественное проявление разгула, который все ошутимее подавлялся в окружающей жизни. То, что не находило выхода «вовне», загонялось внутрь, а непрекращающаяся борьба в литературе (да и в жизни тоже) с «природным», «нутряным», «естественным» вызывала ответную реакцию, пусть и не всегда в приемлемых для человеческого общежития формах.

Поэзия Павла Васильева и его друзей в глазах многих и многих однозначно сопрягалась с их образом жизни, весьма далеким от добропорядочного и благонравного. Веселые, жизнерадостные ребята, они любили хорошо гульнуть, разойтись «в длину и в ширину», а мимоходом и послать куда-нибудь подальше очередного попавшегося им на глаза педанта или зануду. Все это, естественно, запоминалось и рано или поздно должно было не просто быть поставлено им в укор, но привести к необратимым последствиям.

«Мы еще не начинали жить...» Ведь действительно не начинали. Они тогда были только-только в начале пути, тяжелого, трагического, изматывающего – и прекрасного пути. Страну с более чем тысячелетней историей это уникальное

поколение, естественно, воспринимало как свою ровесницу, она принадлежала им и, мнилось, начинала жить вместе с ними. Десятилетия должны были пройти, десятилетия страшного напряжения и невиданных испытаний, и почти никого не должно было остаться от васильевского поколения, чтобы страна, наконец, на излете мощнейшего толчка 1930-х годов почувствовала: начали жить. Конец этой жизни настал почти сразу же, почти одновременно с наступлением этого чувства. Дальше началась нежить.

Но тогда... Тогда гитары были «под вечер речисты». И Некрасов, и «Калинушка» уживались с Вергинским. А Васильев со своим природным своевољством, которое выражалось в органическом неумении сочетаться с московской литературной средой, с постоянной демонстрацией безразличия к мнению окружающих, собрал неизмеримое количество врагов за свою короткую жизнь. Он вообще перестал вписываться в окружающую действительность со своим революционным идеализмом, природной крестьянской сущностью и азиатской стихийностью, которая уживалась в нем (вопреки мнению многих его современников) с огромной внутренней культурой.

14 июня 1934 года в «Правде» появилась статья Максима Горького «О литературных забавах», внушительная часть которой была посвящена Павлу Васильеву: «...Те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те

и другие, по существу своему, равнодушно взирают на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние „короче воробьиного носа“».

Это убийственное клише (ныне вновь получившее второе рождение) стало горохом рассыпаться по страницам других органов печати. Поэту ничего не оставалось делать, как защищаться, и он написал ответное письмо с обещанием «исправиться». Но смирить себя так и не смог, как не смог бросить своей привычки говорить правду в глаза каждому приспособленцу и подлипале, которые в критические моменты демонстрировали свою лояльность, буквально выскакивая из брюк.

В начале 1935 года Васильев был исключен из Союза писателей. А в мае того же года поддался на подлую провокацию, авторами и исполнителями которой были Александр Безыменский, Джек Алтаузен, Михаил Голодный, Михаил Светлов, Алексей Сурков и некоторые другие «собратья по перу». К этому времени на него уже было заведено «агентурное дело» в недрах НКВД, а 24 мая в «Правде» появилось письмо за двадцатью подписями писателей:

«В течение последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева...

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев

устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма...

Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным».

Суть же дела заключалась в том, что Васильев достойно ответил на оскорбление, которое Алтаузен цинично и расчетливо нанес в присутствии своих единомышленников Наталье Кончаловской – стихи, посвященные ей Васильевым, знала наизусть вся Москва. Но никакие смягчающие обстоятельства уже никто не брал во внимание.

...В ожидании неминуемого Павел писал ночью свои последние, как он думал, стихи перед отправкой в места слишком отдаленные:

Друзья, простите за всё, – в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят —
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово – родная,
От него и горюется, и плачется, и поется.

Совершенно новый Васильев открывался в этих строчках. Длинные стихотворные периоды призваны, кажется, продлить звучание голоса человека, который произносит свое последнее слово, кается и прощается, может быть, перед вечной разлукой. Ни обиды, ни остервенения, ни привычной жесткости и самостояния. Совершенно другое чувство владеет им в последние минуты перед дальней дорогой, в ожидании конечной остановки, где его встретят такие же бедолаги, как он сам, примут по чести и расспросят по достоинству.

Елена Вялова вспоминала, как однажды Павел, проезжая с ней на автомобиле по дороге в Подсолнечное, увидел толпу заключенных, роющих канаву под конвоем. Васильев попросил остановить машину, позвал к себе одного из несчастных, расспросил о жизни в лагере и передал для арестантов все бывшие у него деньги, две с половиной тысячи, которые предназначались для отсылки Глафире Матвеевне... Машина уже тронулась, а Павел долго еще смотрел через плечо и о чем-то напряженно думал.

Может быть, тогда и складывались у него первые строчки того «Прощания», которое теперь выливалось на бумагу почти без помарок.

Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени – по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...

В августе 1935 года Васильев был этапирован в исправительно-трудовую колонию в Электросталь. После длительных хлопот был переведен в Москву, в знаменитую Таганку, а потом отправлен в Рязанский домзак, где при попустительстве особенно не нажимавшего на него начальника написал самые жизнерадостные, плещущие искристым юмором поэмы «Женихи» и «Принц Фома».

* * *

Многочисленные ходатайства И. М. Гронского сделали свое дело – и в марте 1936 года Васильев был уже в Москве. Летом того же года в «Новом мире» появились поэмы «Кулаки» и «Принц Фома». И тут началась новая фаза травли.

Как на подбор были заголовки соответствующих статей: «Что вы этим хотели сказать?», «Стиль Гаргантюа», «Мнимый талант»... А зимой того же года из арестованных писателей крестьянского направления в НКВД уже выбивали по-

казания на Васильева, как на гипотетического исполнителя покушения на Сталина.

Мог ли он остаться в живых? Пожалуй, минимальный шанс у него был – исчезни он из Москвы и веди себя тише воды, ниже травы. Но для этого ему надо было перестать быть самим собой. На «террориста» он в глазах окружающих «тянул» уже несколько лет, а в последние месяцы, предчувствуя неизбежную гибель, вел себя с таким вызовом, что ему можно было приписать все что угодно – вплоть до взрыва Кремля. В феврале 1937 года он был арестован, а 16 июля расстрелян по приговору Верховного суда. Прах его был захоронен в братской могиле на территории Донского монастыря.

Секретари Союза писателей и через двадцать лет наотрез отказались ходатайствовать о его политической и литературной реабилитации, и реабилитирован он был лишь благодаря хлопотам все того же И. М. Гронского, который к этому времени сам отбыл восемнадцатилетний срок как покровитель «террориста» и «враг народа».

* * *

Сейчас, когда прошло время очередного обрушения традиционных опор Российского государства, а «национальной идеологией» стало на определенный период безудержное преклонение перед Западом, самое время заново прочесть стихи и поэмы Васильева, дабы понять нерасторжи-

мую сущность евроазиатского мира, на котором испокон веков стояла Россия, – ее он нес в себе с молодых ногтей, воплощая его в художественном слове уникальной яркости, пластики и прихотливости. Ибо «идуший на Запад теряет лицо на Востоке», – говоря словами современного поэта. Трагическая судьба Павла Васильева может послужить уроком в наши непростые дни, когда направо и налево только и слышатся обвинения в «русском фашизме». А его поэзия заново прочистит душу, укрепит духовно и придаст дополнительный импульс нелегким размышлениям о настоящем и будущем великого государства, которое никогда не сожмется до «необходимых» пределов в угоду отечественным и тамошним «доброжелателям». Может быть, сейчас наступает тот рубеж, когда васильевское слово будет по-настоящему востребовано – вопреки прижизненной и посмертной клевете и всякого рода спекулятивным «интерпретациям». Представляя читателю это первое в истории литературы собрание сочинений Васильева, вольно или невольно преисполняешься этой надеждой.

Сергей Куняев

СТИХИ

Письмо

Месяц чайкой острокрылой кружит,
И река, зажатая песком,
Всё темнее, медленней и туже
Отливает старым серебром.

Лодка тихо въехала в протоку
Мимо умолкающих осин, —
Здесь камыш, набухший и высокий,
Ловит нити лунных паутин.

На ресницы той же паутиной
Лунное сияние легло.
Ты смеешься, высоко закинув
Руку с легким, блещущим веслом.

Вспомнить то, что я давно утратил,
Почему-то захотелось вдруг...
Что теперь поешь ты на закате,
Мой далекий темноглазый друг?

Расскажи хорошими словами

(Я люблю знакомый, тихий звук),
Ну, кому ты даришь вечерами
Всю задумчивость и нежность рук?

Те часы, что провела со мною,
Дорогая, позабыть спеши.
Знаю, снова лодка под луною
В ночь с другим увозит в камыши.

И другому в волосы нежнее
Заплетаешь ласки ты, любя...
Дорогая, хочешь, чтоб тебе я
Рассказал сегодня про себя?

Здесь живу я вовсе не случайно —
Эта жизнь для сердца дорога...
Я уж больше не вздыхаю тайно
О родных зеленых берегах.

Я давно пропел свое прощанье,
И обратно не вернуться мне,
Лишь порой летят воспоминанья
В дальний край, как гуси по весне.

И хоть я бываю здесь обижен,
Хоть и сердце бьется невпопад, —
Мне не жаль, что больше не увижу
Дряхлый дом и тихий палисад.

В нашем старом палисаде тесно,
И тесна ссутуленная клеть.
Суждено мне неумной песней
В этом мире новом прозвенеть...

Только часто здесь за лживым словом
Сторожит припрятанный удар,
Только много их, что жизнь готовы
Переделать на сплошной базар.

По указке петь не буду сроду, —
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Чудаки! Поэтов разве учат, —
Пусть свободней будет бег пера!..
...Дорогая, я тебе наскучил?
Я кончаю. Ухожу. Пора.
Голубеют степи на закате,
А в воде брусничный плещет цвет,
И восток, девчонкой в синем платье,
Рассыпает пригоршни монет.

Вижу: мной любимая когда-то,
Может быть, любимая сейчас,
Вся в лучах упавшего заката,
На обрыв песчаный забралась.

Хорошо с поднятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша.

1927

Азиат

Ты смотришь здесь совсем чужим,
Недаром бровь тугую супишь.
Ни за какой большой калым
Ты этой женщины не купишь.
Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже.
Я рос среди твоих степей,
И я, как ты, такой же гибкий.
Но не для нас цветут у ней
В губах подкрашенных улыбки.
Вот погоди, – другой придет,
Он знает разные манеры
И вместе с нею осмеёт
Степных, угрюмых кавалеров.
И этот узел кос тугой
Сегодня ж, может быть, под вечер
Не ты, не я, а тот, другой
Распустит бережно на плечи.
Встаешь, глазами засверкав,
Дрожа от близости добычи.
И вижу я, как свой аркан
У пояса напрасно ищешь.
Здесь люди чтут иной закон

И счастье ловят не арканом!

.....

По гривам ветреных песков
Пройдут на север караваны.
Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый.
Где ветер плещет гибким телом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко зазвенит,
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни.
И там, в предгории Алтая,
Мы будем гости в самый раз.
Степная девушка простая
В родном ауле встретит нас.
И в час, когда падут туманы
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный
В мешках бушующий кумыс.

1928

Пушкин

Предупреждение? Судьба? Ошибка?

– Вздор!

Но недовольство тонко смыла мгла...

...Приспущенные флаги штор

И взмах копыт во тьму из-за угла.

И острый полоз взрезал спелый снег,

Закат упал сквозь роспись ярких дуг.

Поспешливо придумать сквозь разбег,

Что где-то ждет далекий нежный друг...

Вот здесь встречал, в толпе других, не раз...

И вдруг его в упор остановил

Простой вопрос, должно быть, темных глаз

И кисть руки у выгнутых перил.

Конечно, так! Он нежность не увез!

И санки вдруг на крыльях глубины,

И в голубом церемониале звезд —

Насмешливый полупоклон луны.

И санки вкось. А запад ярко хмур.

Сквозь тихий смех: – Какой невольный час...

Даль зеркала и пестрый праздник дур

И дураков. Не правда ли, Данзас?

Усталый снег разрезан мерзлой веткой,
Пар от коней.

– Нельзя ли поскорей... —

И ветер развевает метко
Трефовый локон сумрачных кудрей.

Туман плывет седеющий и серый,
Поляна поднята в кустарнике, как щит.
И на отмеренные барьеры
Отброшены небрежные плащи.

—

Рука живет в тугих тисках перчатки,
Но мертвой костью простучало:

Нет!

И жжет ладонь горячей рукояткой
С наивным клювом длинный пистолет.

Последний знак...

Судьба? Ошибка? – Вздор!

Раздумья нет. Пусть набегаёт мгла.

Вдруг подойти и выстрелить в упор

В граненый звон зеленого стекла.

И темный миг знакомых юных глаз,

Который вдруг его остановил...

– Вы приготовились?

...И дорогая...

– Раз!

У тонких и изогнутых перил.
Ведь перепутались вдруг, вспомнившись,
слова,
Которые он вспомнил и забыл.
– Вы приготовились?..
...То нежность, что ли?
– Два!

У стынувших, причудливых перил —
Вот в эту тьму багровую смотри!
Ты в этом мире чувствовал и жил.
...Бег санок легких, прозвеневших...
– Три!
У ускользящих, остынувших перил...
—

Пустынна ночь. И лунно вьется снег.
Нем горизонт. (В глуби своей укрой!)
Усталых санок ровно сдержан бег,
А сквозь бинты накрапывает кровь.

Мясники

Сквозь сосну половиц прорастает трава,
Подымая зеленое шумное пламя,
И теленка отрубленная голова,
На ладонях качаясь, поводит глазами.
Черствый камень осыпан в базарных рядах,
Терпкий запах плывет из раскрытых отдушин,
На изогнутых в клювы тяжелых крюках
Мясники пеленают багровые туши.
И, собравшись из выжженных известью ям,
Мертвоглазые псы, у порога залаяв,
Подползают, урча, к беспощадным ногам
Перепачканных в сале и желчи хозяев.
Так, голодные морды свои положив,
До заката в пыли обесселят собаки,
Мясники засмеются и вытрут ножи
О бараньи сановные пышные баки.
...Зажигает топор первобытный огонь,
Полки шарит березою пахнущий веник,
Опускается глухо крутая ладонь
На курганную медь пересчитанных денег.
В палисадах шиповника сыплется цвет,
Как подбитых гусынь покрасневшие перья...
Главный мастер сурово прикажет: «Валет!» —
И рябую колоду отдаст подмастерьям.
Рядом дочери белое кружево ткут,

И сквозь скучные отсветы длинных иголок,
Сквозь содвинутый тесно звериный уют
Им мерещится свадебный, яблочный полог.
Ставит старый мясник без ошибки на трэф,
Возле окон шатаясь, горланят гуляки.
И у ям, от голодной тоски одурев,
Длинным воем закат провожают собаки.

1929

Бахча под Семипалатинском

Змеи щурят глаза на песке перегретом,
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыкв.
В них накопленной силы таится обуза —
Плодородьем добротным покой нагружен,
И изранено спелое сердце арбуза
Беспощадным и острым казацким ножом.
Здесь гортанная песня к закату нахлынет,
Чтоб смолкающей бабочкой биться в ушах,
И мешается запах последней полыни
С терпким запахом меда в горбатых ковшах.
Третий день беркута уплывают в туманы
И степные кибитки летят, грохоча.
Перехлестнута звонкою лентой бурьяна,
Первобытную силой взбухает бахча.
Соляною корою примяты равнины,
Но в подсолнухи вытканый пестрый ковер,
Засияв, расстелила в степях Украина
У глухих берегов пересохших озер!
Наклонись и прислушайся к дальним подковам,
Посмотри – как распластано небо пустынь...
Отогрета ладонь в шалаше камышовом
Золотою корою веснушчатых дынь.
Опускается вечер.

И видно отсюда,
Как у древних колодцев блестят валуны
И, глазами сверкая, вздымают верблюды
Одичавшие морды до самой луны.

1929

Рассказ о деде

Корнила Ильич, ты мне сказки баял,
Служивый да ладный – вон ты каков!
Кружилась за окнами ночь, рябая
От звезд, сирени и светляков.

Тогда как подкошенная с разлета
В окно ударялась летучая мышь,
Настоянной кровью взбухало болото,
Сопя и всасывая камыш.

В тяжелом ковше не тонул, а плывал
Расплавленных свеч заколдованный воск,
Тогда начиналась твоя забава —
Лягушачьи песни и переплёск.

Недобрым огнем разжигались поверья,
Под мох забиваясь, шипя под золой,
И песни летали, как белые перья,
Как пух одуванчиков над землей!

Корнила Ильич, бородатый дедко,
Я помню, как в пасмурные вечера

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.